

За почтением к родителям и старшим,
Должно приобретать сведения...

В комментарий к тексту Бичурин писал: «Между обязанностями почтения к родителям и уважения к старшим надлежит в точности выполнять» (Сан-Цзы-Цзин, или Троеслобие. Пер. с китайского монахом Иакинфом. СПб., 1629. С. 4, 33).

⁸ *Voltaire. L'Orphelin de la Chine // Voltaire. Oeuvres completes. Paris, 1834. V. 6. P. 519.* В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием страниц.

⁹ Китайский сирота. Трагедия г. Волтера / Пер. с фр. Василия Нечаева. СПб., 1788. С. 49. (В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием страниц.) Этот перевод дает весьма приблизительное представление об оригинале Вольтера, для знакомства с которым Пушкину, конечно, были не нужны никакие посредники. Приводим его здесь, однако, для воссоздания колорита эпохи и не сопровождаем современным точным переводом с французского ради экономии места.

¹⁰ См.: *Модзалевский Б. Л.* Библиотека Пушкина: (Библиогр. описание). СПб., 1910. № 1426.

¹¹ *Tchao-Chi-Kou-Eul, ou L'Orphelin de la Chine. Drame en proze et en vers, accompnagne des pieeces historigues gui en ont fourni le sujet, de nouvelles et de poesies chinoises / Trad. du chinois, par S. Julien. Paris, 1834. P. 3.*

¹² *Ibid.* P. 325—352.

¹³ М. П. Алексеев отмечал, что Пушкин тем охотнее мог заинтересоваться сюжетом, пьесы «Маленький сиротка из семьи Чао», что «он открывает некоторую аналогию истории Лжедмитрия. <...> Семья истреблена до последнего человека, лишь один сын спасен верным вассалом, который для этого жертвует собственным сыном. Спасенный мальчик вырастает и мстит за обиду, нанесенную его роду» (*Алексеев М. П.* Пушкин и Китай. С. 88). Для полноты картины следует все же напомнить, что книга С. Жюльена вышла в 1834 г., и, следовательно, эта аналогия истории Лжедмитрия стала доступной Пушкину уже после того, как его творческий и исторический интерес к этой фигуре был в основном утолен.

¹⁴ *Битов А.* Предположение жить (Воспоминание о Пушкине) // Статьи из романа. М., 1986. С. 210—308.

Такаси Кимура
(Киото, Япония)

ВЗГЛЯД НА «ДИКОЕ» У А. С. ПУШКИНА

Три года назад, на юбилейной V Пушкинской конференции, касаюсь ориенталистической настроенности раннего А. С. Пушкина, я завершил свой доклад так: «Как мы уже видели, находясь в плену ориентализма, Пушкин в то же время последовательно держит повествовательскую позицию в духе завоевавшей Кавказ стороны. Сомнение в модернизации России и ее идеологии, хотя это тоже спорный вопрос, так или иначе рождается у Пушкина позже написания поэмы „Кавказский пленник“». Но я уверен, что мое замечание ничуть не принизит высокий памятник, воздвигнутый великим Пушкиным»¹. Готовясь к

нашей VI конференции, я почувствовал серьезную обязанность как-то реабилитировать поэта, который перед своей скорострительной смертью практически выходил из плена ориентализма.

Тема «пленника в чужом мире» у Пушкина не исчерпана поэмой «Кавказский пленник». Спустя лет 15 после опубликования поэмы он снова возвратился к этой теме к журнальной статье по поводу «Записок Джона Теннера» (XII, 104—132)². Правда, и в этот раз поэт еще не был полностью освобожден от типичного бинарного мышления «цивилизация/дикость», что было характерно для Руссо, Монтескье, мадам де Сталь, Шатобриана. С тех пор и до настоящего времени их схема остается «неоспоримым эталоном» при рассмотрении и изучении мировых культурных вопросов. Как правило, по этой схеме «цивилизация» отождествляется с «культурой» вообще и вытесняет из поля зрения тот факт, что так называемый «дикий мир» по-своему богат разного рода культурами. Ориентализм возник в этом историческом контексте. Но он отличается от примитивного подхода к идеям, проповедующим преимущество «цивилизации» перед «нецивизованностью». В историко-культурологическом плане ориентализм отличается на романтизм. Романтическая идеализация «дикого мира» состоятельна только в пределах виртуальной реальности, вообразенной в лагере «цивилизации».

В отличие от романтической стадии, у позднего Пушкина заметно явное стремление к познанию настоящей реальности, а не виртуальной. Если описание нравов и обычаев черкесов в поэме «Кавказский пленник» осталось на уровне такого стереотипного представления о них, как у многих русских того времени, то поздний Пушкин уже стал этим недоволен. О распространенной поэтизированной манере описания индейцев он пишет в критическом тоне: «Нравы североамериканских дикарей знакомы нам по описанию знаменитых романистов. Но Шатобриан и Купер оба представили нам индейцев с их поэтической стороны, и закрасили истину красками своего воображения. „Дикари, выставленные в романах“, — пишет Вашингтон Ирвинг, — „так же похожи на настоящих дикарей, как идиллические пастухи на пастухов обыкновенных“. Это самое подозревало читателя; и недоверчивость к словам заманчивых повествователей уменьшила удовольствие, доставляемое их блестящими произведениями» (XII, 105).

Ирония Пушкина по отношению к американскому романтику Вашингтону Ирвингу говорит о его прочно установившейся поэтической позиции, о требовании полной повествовательной достоверности художественных произведений. С его точки зрения «Записки» прямо противостоят романтически окрашенным «блестящим произведениям». Он пишет: «Эти „Записки“ драгоценны во всех отношениях. Они самый полный, и вероятно последний, документ бытия народа, коего скоро не останется и следов. Летописи племен безграмотных, они разливают истинный свет на то, что некоторые философы называют естественным состоянием человека; показания простодушные и бесстрастные, они наконец будут свидетельствовать перед светом о средствах,

которые Американские Штаты употребляли в XIX столетии к распространению своего владычества и христианской цивилизации» (Там же).

Пушкин понял, что распространение цивилизации сопровождается «несправедливостью», «ябедой» и «бесчеловечием» и она просто губительна для индейцев, которые абсолютно все были звероловами. Потеря пустынь для охоты означала обречение их на неизбежную смерть как племени. Но «цивилизация европейская, вытеснив их из наследственных пустынь, подарила им порох и свинец: тем и ограничилось ее благодетельное влияние» (XII, 110—111). Таким образом, он разоблачает насильственную сторону цивилизации, однако вместе с тем не забывает обратить свой взгляд на отношения дикости и цивилизации. По его мнению, «дикость должна исчезнуть при приближении цивилизации. Таков неизбежный закон!» (XII, 104). Эта последняя фраза как будто напоминает о строках из эпилога «Кавказского пленника»: «Но се — Восток подымлет вой... / Поникни снежною главой, / Смирись, Кавказ: идет Ермолов! / И смолкнул ярый крик войны / Все русскому мечу подвластно. / Кавказа гордые сыны, / Сражались, гибли вы ужасно; / Но не спасла вас наша кровь, / Ни очарованные брони / Ни горы, ни лихие кони, / Ни дикой вольности любовь!»³ Но тут есть существенная разница. Зрелый Пушкин теперь вовсе не одобряет грязные действия побеждающей силы цивилизации, которая «через меч и огонь, или от рома и ябеды, или средствами более нравственными» (XII, 104) уничтожает индейцев.

Свой взор Пушкин устремляет и на нравы диких племен, то ли изменившиеся под угрозой гибели по мере вторжения белых, то ли продолжавшиеся издавна. Он указывает, что «легкомысленность, невоздержанность, лукавство и жестокость — главные пороки диких американцев. Убийство между ними не почитается преступлением; но родственники и друзья убитого обыкновенно мстят за его смерть» (XII, 116). Здесь несправедлив сам Пушкин, потому что европейская цивилизация, в сущности, не смогла преодолеть каждый из перечисленных им пороков. Если есть что-то отличающее индейцев от европейцев, то это не считаваемое преступлением убийство и месть за убитого родственника. Деля эти замечания, автор, наверное, забыл, что среди европейских дворян так распространена дуэль. В глазах дикарей дуэль выглядела бы как игровое убийство и месть без уважительных причин. В конечном счете, эта проблема сводится к разнице между культурами.

Историко-этнографические интересы Пушкин сохраняет до конца жизни. Речь идет о «Заметках при чтении „Описания земли Камчатки“ С. П. Крашенинникова». Об этой работе уже был сделан доклад на одной из наших конференций японским пушкинистом Й. Мори, который коснулся этого «последнего и незаконченного литературного труда» с целью показа интереса поэта к Японии. А я бы хотел проанализировать выписки и заметки, сделанные Пушкиным в конце января 1837 г.

и вызванные его продолжительной заинтересованностью проблемой приближения цивилизации к дикарям⁴. Впрочем, книга Крашенинникова вышла еще в 1755 г. с картами Камчатки (о которых, к сожалению, Пушкин не оставил никаких замечаний). Они наглядно показывают то, на каком уровне русские успели познать совершенно незнакомую для них землю.

Из оставшихся данных непонятна конкретная причина, по которой через 80 лет после появления книги взялся за работу о Камчатке. Б. В. Томашевский предполагает, что выписки из книги и записки были предназначены «для помещения в первом или втором номере журнала „Современник“ в виде статьи о завоевании русскими Камчатки» (с. 383). Если так, то в его намерении должна существовать прямая связь со статьей «Джон Теннер». То есть это, разумеется, попытка проверки «заслуг и повинности» цивилизации на русском опыте. Чувство ответственности у Пушкина очевидно: раскрытировать Американские Штаты легко, потому что это чужая проблема.

В его работе основное место занимают выписки из книги. Наряду с описаниями этнографических особенностей аборигенов, географической характеристикой, подтверждением завоеванных казаками мест на полуострове Камчатке Пушкин часто останавливается на бунтах камчадалов и казаков против своих начальников. Общий план его работы понятен. Однако не совсем ясны идейные взаимоотношения между выписками и собственными заметками.

Например, в самом начале этой работы есть такое замечание: «Вызвались смельчаки, сквозь неимоверные препятствия и опасности устремившиеся посреди враждебных диких племен, приводили их под высокую царскую руку, налагали на их ясак и бесстрашно селились между сими в своих жалких острожках» (с. 323). При дословном прочтении текста кажется, что автор стоит на стороне завоевавшей Сибирь и Камчатку силы. Но неизвестно, как он оценивает наложение ясака «враждебным диким племенам». Ведь последующие подробные выписки о бунтах аборигенов объективно доказывают их огромное недовольство. Кроме того, подробное описание часто случавшихся бунтов рядовых казаков против своих начальников явно противоречит якобы одобренным автором поступкам «смельчаков». Пушкин выписывает, например, знаменитую историю бунта казаков, которые в конце концов убили Атласова: «23 января 1711-го году на дороге был он (Миронов — Т. К.) зарезан от казаков. Злодеи думали убить и Чирикова, но по просьбе его дали ему время покаяться, а сами в числе 31 человека поехали обратно в Нижний Камчатский острог, дабы убить Атласова. Не поехав за полверсты, отправили они трех казаков к нему с письмом, предписав им убить его, когда станет он его читать. Но они застали его спящим и зарезали. Так погиб камчатский Ермак» (с. 338—339). А после этого казаки установили свой традиционный режим. Пушкин продолжает: «Бунтовщики расхитили пожитки убитых приказчиков, завели круги, стали выносить знамя, умножились до

75 человек, выбрали атаманом Анцыфорова, Козыревского ясаулом; с Тигилия привезли пожитки Атласова, им отправленные туда, дабы везти их Пенжинским морем; расхитили съестные припасы, парусы и снасти, заготовленные для морского пути от Миронова, и уехали в Верхний острог, и Чирикова бросили скованного в пролуб марта 20-го 1711 года» (с. 229).

Однако настоящее, антагонистическое противоречие все-таки существовало между русскими завоевателями и коренными жителями этой земли. Последние нападали и на казаков, которые имели ежедневные прямые контакты с ними. Вполне естественно, что камчадалы и прочие племена на Камчатке и Курильских островах увидели в казаках непосредственных притеснителей. В ходе бунта, бывало, создавался случайный союз дикарей и казаков. Пушкин приводит такой случай: «Юкагиры, бывшие при Афанасии Петрове, сильно на него негодовали за обиды и притеснения. Он их не отпускал на их промыслы, брал их подводы под камчатскую казну, хотя по указы должен был брать коряжские подводы и проч. Декабря 2-го, не доходя до Акланского острога, они его убили на Таловской вершине и казну разграбили. Колесов и Енисейский спаслися в Акланский острог с 16 человеками. Но юкагиры их осадили и угрозами принудили коряков их умертвить. Казна досталась не токмо дикарям, но и нашим казакам, ибо юкагиры торговали с ними, меняя соболей и лисиц на китайский табак. Таким образом пятидесятник Алексей Петриловский наменял, между прочим, 20 сороков соболей (которые с него в казну и отправлены, когда стали доискивать разграбленный ясак)» (с. 343). Отношения между казаками и камчадалами не ограничивались одной такой чисто материально-экономической связью. Пушкин освещает и другую, более гнусную сторону. Он выписывает: «Казаки брали камчадалских жен и ребят в холопство и в наложницы, с иными и венчались. На всю Камчатку был один поп. Главные их забавы состояли в игре карточной и в зернь в ясячной избе на полатах. Проигрывали лисиц и соболей, наконец холопей. Вино гнали из кислых ягод и сладкой травы; богатели они от находов на камчадалов и от ясячного сбора, который происходил следующим образом: камчадал сверх ясаку платил: / 1 зверя сборщику / 1 — подъячему / 1 — толмачу / 1 — на рядовых казаков» (с. 329—330).

Словом, распространение русской, если так можно назвать, «цивилизации» по Сибири и Камчатке является установлением инфраструктуры для истощения меховых ресурсов и уничтожения нормальных человеческих отношений. Искренне говоря, прочтение пушкинских «Заметок» не могло не произвести на меня такое впечатление. Когда Пушкин написал поэму «Цыганы», соотношение «цивилизации» и «дикого» еще воспринималось им как два никогда не соприкасающихся полюса. А теперь он понял, что дело не так просто: в самой «цивилизации» существует что-то дикое и, наоборот, в самом «диком» до ознакомления с «цивилизацией» еще должно было сохраняться нечто благородное и стоящее уважения.

Примечания

¹ Кимура Т. Находясь в плену ориентализма... (Образы восточных людей в поэме А. С. Пушкина «Кавказский пленник») // *Japanese Slavic and East European Studies*. Vol. 20. С. 140.

² См.: *Shaw J. Th. Pushkin on America and His Principal Sources «Yohn Tanper»* // *Shaw J. Th. Pushkin: Port and Man of Letters and His Prose*. Los Angeles, 1995.

³ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л., 1979 Т. 4. С. 102. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием страниц.

⁴ Об этом замысле Пушкина см.: *Эйдельман Н. Пушкин: История и современность в художественном сознании поэта*. М., 1984 (гл. IX «Камчатские дела»).

Тэрухиро Сасаки
(Сайтама, Япония)

ФИЛОСОФИЯ ДЕНЕГ В ТВОРЧЕСТВЕ А. С. ПУШКИНА

La morale doit être placée au-dessus du calcul. La morale est la nature des choses dans l'ordre intellectuel...

Necker

В художественной литературе весьма важную роль играет представление о деньгах. Не являясь исключением и русская литература. Вспомним, например, Н. В. Гоголя. В его произведениях деньги изображаются чаще всего в негативном плане. Умные и талантливые люди портят свою жизнь из-за жадности к деньгам (сребролюбия). Мы видим такой тип героя в «Портрете».

«Как вспомнил он всю странную его историю, как вспомнил, что некоторым образом он, этот странный портрет, был причиной его превращения, что денежный клад, полученный им таким чудесным образом, родил в нем все суетные побуждения, погубившие его талант, — почти бешенство готово было ворваться к нему в душу»¹.

Гоголь склонен был считать деньги грязной и безнравственной материей. В русской литературе такой взгляд весьма популярен. Но в пушкинском представлении о деньгах мы видим несколько иную оценку сребролюбия².

Этика сребролюбия

В творчестве Пушкина сребролюбие ассоциируется со «скупостью». Скупой рыцарь мечтает быть сторожем накопленного золота даже после смерти.

Я царствую!.. Какой волшебный блеск!
Послушна мне, сильна моя держава!
В ней счастье, в ней честь моя и слава!

(VII, 112)

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)
ФОНД РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ СВЯЗЕЙ
«МОСКВА—КРЫМ»

ПУШКИН И МИРОВАЯ КУЛЬТУРА

Материалы шестой Международной конференции

Крым, 27 мая—1 июня 2002 г.

Санкт-Петербург,
Симферополь,
2003